

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 44

1966



Сергей ВИКУЛОВ

**ЧЕРЕМУХА
У ОКНА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 44

Сергей ВИКУЛОВ

ЧЕРЕМУХА У ОКНА

СТИХИ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1966

Сергей ВИКУЛОВ

Сергей Васильевич ВИКУЛОВ родился в 1922 году в деревне Емельяновской, Вологодской области. В 1940 году в городе Белозерске закончил педагогическое училище. Затем поступил в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. С декабря 1941 года до конца войны находился в действующей армии: участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Командовал батареей, был помощником начальника штаба полка. Награжден двумя орденами «Красной Звезды» и медалями. Член КПСС с 1942 года.

После войны закончил Вологодский педагогический институт и Высшие литературные курсы в Москве.

Первый сборник стихов издал в Вологде в 1949 году. В журналах «Октябрь» и «Нева» опубликованы поэмы «Трудное счастье», «Преодоление», «Окнами на зарю». В Вологде и Москве вышли книги стихов С. Викулова: «Заозерье» (1956), «Полюшко-поле» (1958), «Хорошая будет погода» (1961), «Деревьям снятся листья» (1962), «Хлеб да соль» (1965), «Околица» (1966).

Сергей Васильевич Викулов

ЧЕРЕМУХА У ОКНА

Редактор — П. КРАВЧЕНКО.

А 10748. Подписано к печати 31/X 1966 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Объем 1,0 физ. печ. лист. 1,40 условн. печ. лист. Тираж 117 000. Изд. № 2123. Заказ № 2606. Цена 4 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

СТРОКА МОЯ

Колхозный радиоузел. Черемуха у окна.
Деревенка в два посада. И вечер. И тишина.

Я должен пред микрофоном стихи прочитать сейчас.
Листаю страницы книжки, волнуюсь, как в первый раз.

Не область меня услышит и даже не весь район —
Всего деревень пятнадцать, в лесах с четырех сторон.

Но в каждой из них я, может, не раз ступал на крыльцо,
И многих — не понаслышке — я знаю давно в лицо.

Вернулись, должно быть, с поля они с пол часа назад,
И руки их на коленях, не мыты еще, лежат.

И зноем, и ветром пахнут, и черной землей полос,
Лежат, расчесать не в силах прилипших ко лбу волос.

Я вижу их, землеробов. Разувшись через порог,
Они к самоварам сели неспешно: всему свой срок.

И пьют, наливая в блюдца, и лбы рушниками трут...
А время идет: осталось не более трех минут.

Что мне прочитать такое, чтоб в избу вошел мой стих,
Как запах от каравая, что корочкою хрустит?

Вошел, как сама усталость, как гул посевной страды,
Как женщина входит в избу с ведром ключевой воды.
Как добрый сосед заходит по делу, а то и нет.
И в доме по-русски просто кивают ему в ответ.
Его угощают хлебом, ему наливают чай...

Но щелкнул включатель. Время.
Строка моя, выручай!

БАБУШКИНЫ ПЕСНИ

Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Алексеевна.
Из подойника молоко
льет в посудинки, дужкой брякая...
До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкой,
небольшой, но такой баской!
Словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретеньшко,
зажужжит под ее рукой.
Запотрескивают дрова,
свет заплещет у ног — в два лучика.
И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.
...Завывает метель в трубе
знобко, жалостно. А в избе
льется песня — печаль-забавушка.
И, раздумавшись о себе,
о злосчастной своей судьбе,
утирает слезинку бабушка.
Ой, не вьюгою ли шальной
ее тропочка замечается!..
Песня льется, переплетается
с тонкой ниточкою льняной.

И протяжна, и широка,
и ничем таким не расщечена,
выпрядается бесконечная
вместе с ниткой из кушелька.

РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творения —
кудлатых предков наших сочинения,
на полках не лежавшие вовек!
Кто вас творил?
Доподлинно известно:
русоволосый, живший повсеместно,
с умом расхожим русский человек.

Творил стоустно, слово выбирал
правдивое, не мудрствуя лукаво.
Он, как творец, имел на это право.
Он все из жизни брал.
И если врал —
не из тщеславья, и не для успеха,
и не из лести,— участи льстеца
в сем деле он не ведал...
Врал для смеха,
из озорства,
для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли,
и били в зубы с маху кулаком,
и в шею гнали, коль просил он воли,
и бранно называли дураком.
А он, дурак, был вовсе не дурак!
В своем углу, где крепок дух овчинный,
он хохотал над барами, да так,
что тухли, в стенку воткнуты, лучины
и лопались застёжки на портах!
И слово —

все, чем он владел пока,—
рождало эхо. Грохотало громом!
И поднимался во весь рост над злом он
в облики Ивана-дурака.

Он все умел, дурак, и все он мог!
И неспроста, играя опояской,
он ухмылялся в ус: мол, сказка сказкой,
а дело делом!.. Дайте только срок.

* * *

Оглядываюсь с гордостью назад:
прекрасно родовое древо наше!
Кто прадед мой? Солдат и землепашец.
Кто дед мой? Землепашец и солдат.
Солдат и землепашец мой отец.
И сам я был солдатом, наконец.
Прямая жизнь у родичей моих.
Мужчины — те в руках своих держали
то плуг, то меч...
А бабы — жены их —
солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож
в моем роду. Какие там вельможи!..
Мой прадед, так сказать, не вышел рожей,
а дед точь-в-точь был на него похож.

И все ж я горд — свидетельствую сам! —
что довожусь тому сословью сыном,
которое в истории России
не значитится совсем по именам.

Не значитится... Но коль невмоготу
терпеть ему обиды становилось,
о, как дрожать вельможам доводилось,
шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.
Я только ветвь на дереве могучем.
Шумит оно, когда клубятся тучи,—
и я шумлю...

Молчит — и я молчу.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

(Из поэмы «Окнами на зарю»)

Сенокосит деревня.
Уставшие за день,
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.
Теткин дом — он четвертым стоял на посадке,
а сегодня он первым стоит, на краю.
А сегодня за теткиным домом — околица.
И не первое лето, с тоски без ума,
там, где раньше стояли другие дома,
синим далям

по-вдовьи черемухи молятся.
И глядят на дорогу и верят, неистовы,
что к весне мужики возвратятся сюда,
наострят топоры, срубят избы смолистые,
и запахнет дымком, как в былые года...
Ах, черемухи! Лучше вам с долею трудною
примириться: железно ступает страна!
И не будет деревня такой многолюдною,
говорю вам,

не будет — не те времена.

Подросли молодые черемухи в селах.
Сыплют звезды в траву — что им ваша печаль!
Не в лаптях мужикам — трактористам веселым
всю свою красоту раздарить им не жаль!
Понимают, вздымая пахучее облако
в вышину, где гудят возле крыш провода,
что деревня откуда стара только обликом,
а душой, как они, молодым-молода!
Но и все ж мне близка и понятна, деревня,
ваша грусть.

Я и сам до сих пор, не солгу,
к той тележной, бедовой и горькой деревне
очень нежные чувства в душе берегу.
Не она ли,

она меня, малого, скоро
понимать научила — не вытью одной,—
как он, хлебушко-батюшка, пахарю дорог
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.
У нее я учился премудростям чести,
прямоте: да — так да,

или нет — так уж нет!

Благодарен я ей, деревушке в залесье,
и за сказки ее и за песни... Ах, песни!
Я люблю их и помню с мальчишеских лет.
То печальные, как завывание вьюги,
от которого — знаете? — дрожь по спине.
То веселые очень, как ливень в округе,
из-под радуги ливень! И гром в вышине!
Ох, как гнулись под песенки те половицы!
Русский хмель — он такой: коли бросило в круг,
надо пол проломить, или ó пол разбиться.
или высечь огонь каблуком о каблук!
Руки в стороны. Эх! Ходуном вся изба,
словно в этой избе не гульба — молотьба.
Не умела деревня — характерец чёртов! —
ни вполсил работнуть, ни вполгорла хлебнуть.
Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечёрки.
Знал... И словом худым не хочу помянуть.
Худо, что ли, как кони летели по кругу,
пронося, словно радугу,

подем дугу?!

Не могу я, по памяти, словно по лугу,
проходя, наступать на цветы, не могу!
Понимаю, что к прежнему нету возврата.
Отзвенели твои бубенцы навсегда,

деревушка... Но так ли уж ты виновата,
чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!
Много дикости было? Да, было. Допустим...
Но и все же, какой бы она ни была,
та деревня,

понятие гордое — русский! —
в полной мере она осознать мне дала!
Да, она. Хоть об этом ее не просил я.
Это после пришло...

И когда я кричу,
что деревню люблю, — это значит, Россия,
я тебе в этом чувстве признаться хочу.
Ты иная сегодня Ты в космос врубилась...
Но и громом ракетным встречая свой день,
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
что когда-то

ты вся началась с деревень.

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Сергею Орлову.

Ликбез припомнился сейчас мне.
Тогда меж делом, на дому,
учились люди... Я причастен
и сам к учению тому.
По вечерам, как на работу,
заботу ведая одну,
я шел учить письму и счету
Авдотью — мельника жену.
Светились избы мутным светом.
Я шел, достоинство храня,
нарочно мимо сельсовета,
чтоб люди видели меня.
Совсем малыш еще, нимало
не обижался я на то,
что мне Авдотья помогала
и дверь открыть и снять пальто,
даря при этом мне улыбку...
А я садился у окна
и ждал, покачивая зыбку,
пока обрядится она.
Я ждал. Она дрова носила,

Гремела ведрами в углу,
потом брала на руки сына
и подвигалась с ним к столу.
Смолкал, на радость мне, мальчишка,
поймавший розовый сосок.
А я давал Авдотье книжку,
и начинался наш урок.

Урок. Теперь уж чувств тех самых,
наверно, я не передам,
когда впервые слово МАМА
она читала по складам.
Когда, старания и веры
полна, она в свою тетрадь
писала трудные примеры:
и дважды два, и пятью пять...
Мы с нею многое умели,
мы с нею многое могли.
Но приходил с работы мельник,
весь, до бровей, в мучной пыли.
Авдотья тотчас убирала
свою тетрадку и, пока
он мылся, быстро накрывала
нехитрый стол для мужика.
— И ты поел бы, скоро восемь...—
и угощала пирожком,
и подпоясывала после
меня отцовским ремешком,
совала в руку мне конфетку...
И я, идя домой, опять
решал, какую же отметку
Авдотье выставить в тетрадь...

ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Коли добрая погода,
полусонные с тоски,
на собрание приходят
первым делом старики.
Курыт мирно. Ожидают
баб — нельзя теперь без баб!
Ну, а тем напиться чаю
прежде надобно хотя б,

сделать кое-что по дому,
коровешек подоить.
Кто их в этом деле, вдовых,
к слову, может заменить?
Наконец приходят. В кофтах,
сшитых с милой простотой,
не обижены ни ростом,
ни, конечно, широтой,
и садятся: Марья с Настей,
ладом, рядом — дочь и мать.
И верховный орган власти
начинает заседать.
Ух, собрание! Негде плюнуть,
негде яблоку упасть!
Но коль вздумать да подумать —
потому оно и власть!
Тут речей не произносят,
тут, коль надо, говорят,
тут за правду — кровь из носа,
тут в беде — за брата брат!

Как навалятся все вместе,
как поглаживать начнут
против шерсти, против шерсти —
взмокнешь весь за пять минут!
Что ни худо, где ни слабо,—
виноваты мужики!
Ну и бабы, ох и бабы —
жала, а не языки!
Председатель стукнет, брякнет
по графину, по столу:
мол, давайте по порядку,
мол, потише там, в углу!
Смолкнут резко «автоматы».
— Кто желает? — Тишина.
Смысла нет: у виноватых
без того горит спина.

ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из леса когда-то
хозяин в деревню принес на плечах.
Он вырыл ей яму железной лопатой,
он полил ей корни водой из ключа.

И встала черемуха рядышком с домом.
И любо ей было занятие одно —
мести по карнизам зеленым подолом,
пахучей метелью швыряться в окно,
да терпкие ягоды — много ли мало —
дарить ребятишкам в ладони...
Но вот
однажды ни окон, ни дома не стало,
один лишь бурьян по соседству растет.
Куда ни протянет черемуха руки —
зовущие руки — кругом пустота...
Ей снятся калитки знакомые звуки,
ей грезится окон резных высота.
И песня про горы золотые, и говор
из окон, и хромки лихой перебор...
Вот так и хозяин, уехавший в город,
наверно, тоскует о ней до сих пор.

И МОЯ ЗАСЛУГА

Позволь отдать тебе поклон,
великое Светило,
за то, что в этот год теплом
ты нас не обделило.
Гляжу, идя вдоль полосы:
с каким усердьем в час росы
твои лучи-пройдохи
пшеницу тянут за усы
и за уши горохи.
Да и в саду
с тобой в ладу
дела идут блестяще!
На редкость в нынешнем году
ты, Солнце, работающе.

И в том, что нива не пуста,
что небывало рожь густа
и тянет медом с луга,—
твоя, конечно, доброта...
Но и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,
когда еще ты спало,
пахал уже, когда ты глаз
еще не открывало.

И в час, когда ты на покой,
устав, уже катилось,
вовсю еще я за рекой
работал, ваша милость.

И как работал!
Неспроста
в полях такая красота...
И за красу такую,
дай, брат, в горячие уста
тебя я поцелую.

ДОСКА ПОЧЕТА

В комнате, где косточки на счетах
целый день ведут веселый бой,
на стене висит Доска почета,
почему-то в рамке голубой.
А на ней, достойны преклоненья,
женщины. Четыре поколения!
На груди — то брошка, то медаль,
то и ничего... А на коленях —
руки — не последняя деталь!

Не в сиянье нимбов божьи лики —
смотрят на меня в упор с Доски
всемогущи и велики,
более чем боги, мужики!

Смотрит на меня сама Работа.
Светлая — к чему ей позолота!
Гордая — ее я понимаю,
разбитная — все ей по плечу!
Вот она какая... Я снимаю
шапку перед нею. И молчу.

РАЗГОВОР С ПОПУТЧИКОМ

Е. И. Макаровскому.

Край наш — это верно, брат,—
виноградом не богат.
И земля у нас сырая,
и болота широки.
Но на свете лучше края
нет, считают земляки.
— Хорошо у нас в краю,—
сами шутят,— как в раю!
Клюквы, луку да рябины
отродясь не переесть.
А брусники да малины
в нашем крае сколько есть!
Верея от ворот —
вот какой у нас народ!
Ваших, коль молва не врет,
на работе дрожь берет.
А у наших пышут лица
от жары — не похвальба.
Наши в стужу рукавицей
утирают пот со лба.
Рубят, брат, не байки бают...
Но зато и за столом
щи да кашу подметают
ложкой, словно помелом.
А когда за самовары
сядут (солоно солят!),
пьют, покуда клубы пара
из сапог не повалят.
Сахар есть — внакладку пьют,
вышел весь — вприглядку пьют.
Пьют с малиной,
пьют охотно
с клюквой — ягодой болотной.
Потому как виноград
здесь не зреет. Верно, брат.
Но ведь мы вперед глядим,
сложив руки не сидим.
Кое-где и в нашем крае
по весне цветут сады...
А короче — хватит хаять
край наш, не было б беды!

ОСЕНЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОШЕ

Сквозь чащу леса поределую
один, за ветром по пятам,
пришел вчера я в рощу белую,
а там — гуляние... А там
березы водят хороводы:
октябрь — а им и горя нет...
И — мать честная! — вижу, мода
и у берез на рыжий цвет,
и у осин...

Над всем пространством
и бронзы отблеск и огня.
Лишь ели с мудрым постоянством
темнея, смотрят на меня,
как будто шепчут: «Ненадолго...»
Но их не слушают, легки,
березки! Сыплют из долов
на плечи елям пятаки.
Сорят налево и направо:
мол, все равно, идут года.
То было рано, было рано,
а будет поздно — что тогда?
И принимаются раскачивать
опять свой белый гибкий стан,
от чувств пьянея нерастраченных,
пустив по ветру сарафан.
А то, обнявшись, станут парами
и зябко песню заведут,
как на деревне девы старые,
что все еще

чего-то ждут...

ВЕСЕЛАЯ РУКА

Ударил сок живительный
в оттаявший сучок,
и лопнул клейкой почечки
ядренный кулачок.
И в небо сине-синее
над полою водой
не лист березка вскинула —
расправила ладонь.

с прожилками, зеленую,
не громкую пока...
Ах, до чего у дерева
веселая рука!
Шершавая — не нежена! —
зубчатое ребро.
То щедро сыплет на землю
дождинок серебро,
то синь начнет процеживать,
то солнечный песок,
то влепит ветру шалому
ладошкою в висок!
И вся как откровение
березка на ветру,
ее, как друга старого,
я за руку беру.
И лопоча с доверием —
нам вспомнить есть о чем,—
другую руку дерево
кладет мне на плечо.
Испытывает: крепко ли
я на земле стою,
И свой ли я по-прежнему
в березовом краю.

БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все
в огородах бани топятся.
Мужики домой торопятся:
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды
и попариться маленечко...
— А готовы ль, женки, венички?
А наношено ль воды?
Нам бы в баньку прямоком....
Десять ден, а может, более,
умывались потом в поле мы,
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки
бани. Веники окачены.

И штаны, в земле испачканны,
скидывают мужики.
И, нырнув в жару, рычат,
чешут спины просоленные...
Как взрывчаткой начиненные,
камни в каменках трещат.

Ковш, еще два ковша
с ходу опрокинуты.
Веники вскинуты:
— Оттаивай, душа!
Ух, как хорошо!
На полкѣ устроился
и пошел, и пошел —
выше, ниже пояса...
А пар клубится
вокруг мужика.
— Подайте рукавицу,
не терпит рука!

Но буйствует веник,
но веник сечет:
вставай на колени,
сдавайся, черт!
И жжет, и кусает
и грудь и бока,
и на пол бросает
с полка мужика.

— Ништо, отлежится,
откройте-ка дверь.
Ему еще мыться,
тереться теперь.
Мазутные пятна
с мозолистых рук
и в бане, понятно,
отмоешь не вдруг...

Пышут жаром у реки
бани. Мыло в шайках пенится.
Спины трут себе, не ленятся,
трактористы в две руки.
Поперек и вдоль сто раз!
По домам идут, как новые.
Там их ждут — давно готовые —
самовары на столах.

ПО ЯГОДЫ

О этот праздник бабьего набега
за клюквой на болото Журавли!
Корзины грудой сложат на телегу,
мешки в корзины бросят — и пошли!
Длинна-длинна дорога до болота,
да не скучна... Идут у колеса
и языками будто бы молотят,
пересыпая смехом голоса.
И столько тут отчаянных да храбрых,
готовых правду резать напрямки:
мол, что ж мы смотрим,
что ж мы терпим, бабы,
опять всю власть забрали мужики!
Мы с вилами — они с карандашами,
мы с ведрами — с кисетами они...
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами,
не бережем, не ценим трудодни?
...И вот уже разобраны корзины,
подоткнуты подола высоко,
и зубчатая, в елочку резина
уже следы печатает легко
на мху, где клюква, словно на подушках,
лежит, как «буби-kozyри», красна.
И оставляют женщины друг дружку,
и сразу наступает тишина.
Не жадность подгоняет: знают твердо,
что хватит ягод всем в болоте, но
отстать от прочих собственная гордость
не позволяет! Сыплются на дно,
подпрыгивая, мокрые рубины.
Но дрогнут руки вдруг в минуту ту,
когда глухарь чуть не из-под корзины
взлетит, испуган, с ягодой во рту.
— Фу, дурень экой! — провожая взглядом
шалую птицу, женщина вздохнет,
и вновь берет. И вот уж полон ягод
мешок.
И кто-то голос подает.
— Ау, ау! — из глубины болота
Доносится. — Ау! — звенит в лесу.
— Пошли домо-ой! — зовет чуть слышно кто-то.
А кто-то ближе: — Ой, не донесу.
Ой, родненькие, лопнет поясница...

— Убавь,— кричат,— коль ноша велика!
А на дороге старичок возница
уже в оглобли ставит меринка.
И, глядя, как с мешками на дорогу,
шумя, выходят женщины, ворчит:
— Ой, бабы, бабы... Глупые, ей-богу!
Набрали — мужику не утащить!

* * *

Стихи мои о деревне —
и радость моя и боль!
Кто зову земли не внемлет,
едва ль вас возьмет с собой
в дорогу —
развеять дрему...
Глухому к земле ему
стихи про Фому-Ерему,
сермяжные, ни к чему.
Томов со стихами — груда.
А в тех, говорят, томах
что ни страница — чудо,
что ни куплет, то — ах!
Новаторские, блестящие,
строка о строку звенят.
А вы, мои работающие,
в пыли с головы до пят.
Не очень-то вы нарядны
и — где уж там — не модны,
вы будничны, не парадны —
и все-таки вы нужны,
я верю, тому, кто в поле
упрямо растит зерно,
чьи с коих-то пор мозоли
в стихах поминать грешно...
Старо и неблагозвучно!
Да полноте, остряки!
А ваши-то белы ручки
не потому ль мягки,
что эти не в меру каменны?!
Не руки, а жернова!
В мозолях все, как в окалине...
Нужны ли еще слова!
Добры, горячи по-русски
и грубы на первый взгляд,

корявые эти руки,
красивые эти руки
и впрямь чудеса творят!
Держите ж голову гордо,
стихи мои! Мы и впредь
о них, не жалея горла,
пусть хрипло, но будем петь!

В ГОРОДЕ

Мать приехала в город к сыну.
Нет, не в гости на этот раз.
На высокий этаж насили
с сыном под руку поднялась.
Полпролета пройдет — и станет,
воздух меряя на глотки,
не снимая с перил усталой,
в синих жилах, большой руки.
Глухо сердце больное билось,
а ступеньки все вверх вели.
И чем ближе до неба было,
тем все далее до земли,
по которой, чтобы скорее,
столько хожено босиком...
Как же жить ей теперь над нею,
словно облако, высоко?

И едва отошли морозы,
стало солнышко припекать, —
«Как-то в нашем теперь колхозе?..» —
вслух однажды вздохнула мать.
К шуму города безучастна,
стала тихой — не ест, не пьет.
Словно старую птицу, властно
потянуло ее в отлет.
Сын балкон распахнул: гляди, мол,
мама, город растет какой!
Талым снегом пахнуло, дымом
домен, выросших над рекой.

Небо заревом полыхало.
И сказала она в ответ:
«Пароходы пошли, слыхала...
Ты б купил мне, сынок, билет».

ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Люблю заглянуть на весенний базар!
Там — вплоть до последнего ряда —
отличный товар, ходовой товар,
а имя товару — рассада.
Рассада? А может, отрада? Да, да!
А может, надежда?
Я вежлив:
— Отрады,— прошу,— положите сюда.
И горсть, если можно, надежды!
Дородная тетя — весенний загар
у ней на щеках под платочком,—
смеясь, подает мне веселый товар —
две горсти зеленых росточков.
И вновь в чернозем окунает до дна
ладони. И можно ручаться:
надежды, которые людям она
сейчас раздает, возвратятся
под осень сюда! И прогнутся борта
машин, что придут с огородов.
У тети дородной в глазах доброта,
и вера в глазах у народа.
А рядом, пуская махорочный дым
на ветер, и жалок и скучен,
заезжий стоит гражданин, а пред ним —
поджаренных семечек куча.
— Берите! — басит он.— Кому завернуть?
О как ты смешон, человеке!
Настанет зима — и тебя помянуть
нам будет решительно нечем...

РАЗДУМЬЯ В ПОЛЕТЕ

Расположившись в мягких креслах,
летим... Смешно сказать: л е т и м!
Опять приносит стюардесса
бифштексы нам, и мы едим.
И запиваем крепким чаем,
и дым пускаем в небеса.
И что летим — не замечаем,
не ощущаем. Чудеса!

Земля под нами еле-еле
плывет в разводах облаков.
О господи, как тихо едем!
Как тут не вспомнить рысаков!
— Э-гей, родимые!

Вожжами
тряхнет ямщик — и понесли,
тревожно прядая ушами,
вдоль-поперек самой земли.
Перевернут — не дай бог круто
рванутся в сторону!

А тут
всего пятнадцать верст в минуту —
везут тебя и не везут.

И ни столба, чтобы заметить,
как ты несешься, ни куста.
Все относительно на свете:
размеры, скорость, высота.
...И ты, поэт, свою вершину
преодолев, не меряй, брат,
успех свой собственным аршином,
не торопись на марш-парад.
И преждевременно победой
не упивайся, в рог трубя...

Такие ль
прадеды и деды
вершины брали до тебя?!

Все относительно на свете...
И все ж приятно свысока,
прикладываясь к сигарете,
смотреть вот так на облака —
не снизу вверх

букашкой сущей,
не так, как смотрят на карниз,
а самовластно, всемогуще
и потрясенно — сверху вниз!

* * *

...И ночь пришла.
Заснули в гнездах
грачи, вконец утомлены.
А в небе лишь Луна да звезды
на все четыре стороны.
И — тишь: ни смеха, ни рыданья.

И — тьма: нигде ни огонька.
Есть лишь Земля. И мирозданье.
И в лунном свете облака.
И эта бездна без предела...
Летит Земля. Пылят века.
И я лечу! Уже я сделал
вкруг Солнца сорок два витка!
О ощущение полета!
Я твердо знаю, что полет
не отдых, нет,
полет — работа!
И взгляд, нацеленный вперед!
И надо быть тебе в ответе
за все слова, за все дела,
чтобы однажды, на рассвете,
Земля с орбиты не сошла.

ДЕВЧАТА

Александр Яшину.

Сон свалил деревню. Поздно.
Спит зеленая страна.
Только месяц, только звезды
да гармонь не спит одна.
Там девчата-хохотушки —
гармонист у них в чести,—
словно семечки,
частушки
сыплют под ноги друг дружке
до полуночи почти.
Что им сон, девчатам нашим!
Каблучками словно шьют.
От любви сгорают — пляшут,
от измены сохнут — пляшут,
и зимой и летом пляшут —
как они не устают?!
А была война — плясали
все равно и в дни войны.
Встанут было: парни — сами,
и гармонии — тоже сами,
сами — песельницы, сами,
наконец, и плясуны.

Да и пели-то, признаться,
для того лишь, может быть,
чтобы вдруг не разрыдаться,
чтобы в голос не завывать.
Злы и грубы были песни.
Пели так — и в этом суть, —
чтоб врага не пулей если,
так хоть словом полоснуть!
А хотелось песен светлых.
Но была без пареньков
кладовая слов заветных
заперта на семь замков.
И они не потускнели,
те слова в сердцах девчат...
«Скоро ль, серые шинели,
вы воротитесь назад?..»
Но летела в край из края
о девчоночках молва:
чуть не каждая вторая —
незамужняя вдова.
Две недели, три недели,
сто недель потом подряд
пели... плакали и пели
те девчонки, говорят.
А однажды замолчали:
на другом конце села
без тоски и без печали
песня крылья развела.
Полетела, словно эхо
песен, спетых до войны,
одаряя смехом, смехом
все четыре стороны:
«Девочки, любовь горячую
носите под платком.
Я носила под косыночкой —
раздуло ветерком».
Половодьем песен этих
ты, мой Север, и хорош!
Спит округа. Месяц светит.
Сны досматривает рожь.
Желторотые грачата
в гнездах спят, и спят грачи
возле гнезд... Одни девчата
ходят с песнями в ночи.
Ходят улицей знакомой.

И у каждой для дружка
песен сто с собой
да дома
под завязку — два мешка!

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя
в разгар невеселой поры,
когда переспевшие, стоя,
ломались хлеба от жары.
Ни облака в небе, ни тучи.
Не чая попасть на гумно,
слезой из-под брови колючей
стекало на землю зерно.
Солома сгибала колени,
как странник, уставший в пути.
В Ивановке — местном селении —
Иванов — шаром покати!
Авдотьи кругом да Орины,
короче — солдатики одни.
И видим: еще половины
хлебов не убрали они.
Уставшие —

шли не с парада,—
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
хоть чуточку бабам помочь.
И тут же, по форме солдаты,
душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
составили в козлы штыки.
И в рост — во весь рост! —

не сражаться
пошли, нетерпеньем горя,
пошли со снопами брататься,
в объятья их по три беря.
И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
от этакой вот благодати
мы даже могли уставать...
Сейчас же все боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,

сулоном чубы вороша.
Мы пели б, наверное, пели б,
работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.
Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть.
Вдохнуть неостывшего зноя
и вспомнить на миг в тишине
родимое поле ржаное,
и, может, забыть о войне.
Забыть, что фашист наседает,
забыть, что у края жнивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не женка твоя.
Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатики на нас.
Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.
А мы все ломали работу.
И очень боялись: вот-вот
раздастся жестокое:
— Ро-ота!
И все, словно сон, оборвет.

АНИСЬИНО УТРО

У Анисьи петух — поглядеть — красота!
Белобрысы, другим петухам не чета.
Шпоры — ступит — звенят. Гребешок наизлом.
Вороненая сталь под багровым крылом.
Хвост — атлас на показ. Воротник золотой.
Жен — семнадцать, и все у него под пятой!
На высоком насесте, под кровлей ржаной,
просыпается первым он, как заводной.
Громко крыльями бьет по своим галифе

и орет, ни в каком не повинен грехе,
песнь,

что предок еще при Горохе-царе
распевал на заре, распевал на заре...
«Ку-ка-рё-ку!» — И все население двора
поднимается на ноги дружно: пора!
Поросенок в кутке — не чесался давно —
принимается холку терзать о бревно.
А корова, будя шаркунцом тишину,
сонной мордою шарить в кормушке по дну.
А ягнята — те матку толкать под бока,
дабы лишнюю каплю добыть молока.
Тишина. Но уже через четверть часа
двор проснувшийся стонет на все голоса.
Как баржа-самоходка, корова орет,
поросенок визжит и корыто грызет,
Куры — снова на сносях — кричат за стеной:
«Кто последний в гнездо?»

— Я... но двое за мной».

А овца: «бе» да «бе», — не найдя, что поесть,
норовит, как петух, в подворотню пролезть.

И Анисья встает, всполошась: «Проспала!»
И скорей за извечные бабьи дела.
Не прибравши волос, не умывшись со сна,
первым делом лучину щепает она.
И взвизгивается зверем огонь молодой.
— Пусть горит! — И, босая, бежит за водой.
Тащит ведра. И вот уж, полным-то полны,
придвигает ухватом к огню чугуны.
Крутобокая печь раздувает меха...
А хозяйка, пока не слышать пастуха,
хлебца корочку взяв, подоткнувши подол,
в сапожищах, с подойником мчится во двор.
Вжик да вжик!

Поросенок встает на дыбки,
загородку грозя разнести на куски.
Но — подойник в коленях — Анисья сидит.
— Я те, морда! — ругается. — Я те, бандит!
Чтоб ты сдох, пустобрех! — добавляет в сердцах.
Но уж это для красного только словца.
Потому как на деле хозяйка двора
и к нему, до ножа, неизменно добра.
А бранится — так что ж тут такого?! Она
на такое хозяйство, как палец, одна.

Верка, старшая, внука уже родила,
и у Светки — полгода, как свадьба была.
Слава богу, и младшей достался мужик
неплохой: за таким

жизнь да жить — не тужить!

Правда, больно уж горд да горяч на беду.

Отчего и с Крестовым уже не в ладу,

и с самим председателем...

Где бы иной

промолчал, не заметил, прошел стороной,—

он, отчаянный, прет, словно танк, напрямик:

— Я солдат! И хвостом, мол, вилять не привык!

А к хозяйству — совсем не радеет. Ему

и корова, послышишь, уже ни к чему.

Ох, беспутный! Да худо ль — свое молоко!

Верно, корм и теперь добывать нелегко.

Тут охапку да там... Да тайком, по ночам.

У нее у самой в сенокос-то к плечам

прикипает веревка...

А как без скота?

Не надежно: картина покуда не та!

Да и жалость в душе... И привычка притом.

Всю ведь жизнь со скотом! Всю-то жизнь со скотом!

Да и внука и Верку уж с мужиком

чем поить, как приедут? Парным молоком!

И Анисья несет добровольно свой крест.

Целый день на ногах. Даже походя ест.

Городских-то, случалось ей видывать, дам

распирает решительно к этим годам.

А она, словно жердь из осека, тонка,

юбку Веркину носит — и та велика.

...Только крынки расставила в кухне она,

глядь, пастух барабанит уже у окна.

«Ну, и ладно, успела!» — себе говорит.

И, взглянув мимоходом, как в печке горит,

через сени опять громыхает во двор

и с ворот широченных снимает запор.

Яркий свет ударяет корове в глаза.

Выплывает она, как баржа из шлюза.

Следом, кур распугав, выбегает овца...

А хозяйка с минуту стоит у крыльца,

молчаливо любуясь на шустрых ягнят.

А потом, спохватившись, несется назад.

Выставляет из печки чугуны и пестом

разминает картофель вареный. Потом

высыпает в ведро. Хлеба два-три куска добавляет. И крынку еще молока. И выносит во двор, ублажает хряка. Курам что-то дает. Все, как будто, пока. Закрывает заслонкою печку. И вот, взяв лопату, Анисья бежит в огород.

Ах, а там в огороде, хоть он небольшой, молодеет и телом она и душой. Там она между гряд ходуном, ходуном, председатель — сама и сама — агроном. И работник сама, наконец... Красота! То проредит морковь, коль увидит — густа, то картошку пророет — теперь бы дождя! — то росток оборвет с помидор, не щадя. Для Анисьи понятия нет — н е д о р о д. Как прикинешь, взглянув на ее огород, что получит иль сможет она получить, так поймешь, что не надо Анисью учить, как к земле подойти... Ту науку она постигала горбом и постигла сполна!

Раз Степанко-сосед, что живет через двор, в похвалу ей сказал, навалясь на забор: — За такой урожай, коли здраво судить, впору, тетка Анисья, тебя наградить. И притом не значком, не медалью простой, первым орденом нашим, Звездой Золотой!

Про награду-то в шутку, конечно, мужик... — А и что?! — возгордилась Анисья на миг. А и что? Поработала, было делов. В плуг, случалось в войну, запрягала коров. И пахала. И жала серпом опосля. И доньне, поди, не впитала земля слез-то бабьих горючих... А после войны? Да по совести ежели, Анисье б должны горсть тех звезд-то бы дать! Дожидайся, дадут.

Бубенцов-то всего лишь два года, как тут. Хоть бы пенсию дал: на исходе года. А Звезда... Ни к чему ей теперь уж Звезда. Не срамил бы на старости лет — и добро. Ей неправое слово, как нож под ребро!

Как-то Верка прислала посылку с мукой. И случился как раз то ли праздник какой,

то ли день выходной... Ну, и к этому дню
в простоте замесила Анисья квашню.
Накануне морошки она набрала —
мягкой, сладкой в ту пору морошка была.
Так в пирог и просилась! Известно давно ж,
что с морошкой ягодник вот как хорош!
«Угощу,— рассуждала,— Светланку с зятьком,
коль заглянут... Проглотят ужо с языком!»
Утром тесто на стол — началось колдовство.
Сразу в колоб скатала Анисья его,
после пальцами сильно прошлась по бокам,
а потом — в две руки — по щекам, по щекам!
Отступилась. Муки на средину стола
раструсила щепотку и скалку взяла.
Р-раз — вперед, два — назад, три... И нет колобка.

Разрумянилась даже Анисья слегка.
Ощутила себя молодой-молодой,
той, какою была перед самой бедой,
не злосчастной вдовой — еще мужней женой,
и сединки у ней под платком — ни одной,
и девчушки малы еще, спят в пологу.
(«Пусть, не поздно, успеют еще к пирогу».)

Хорошо на душе у Анисьи, светло.
Вот она намочила уже помело,
подмела угольки на горячем поду...
А в избе, с настроением хорошим в ладу,
лется песня — динамик висит на стене...
Вдруг мотив обрывается, и в тишине
Бубенцов начинает слова говорить:
«Надо больше косить... Надо лучше доить...
Надо совесть иметь... До каких это пор?..»
И про тетку Анисью завел разговор.

Рот открыла она и стоит. А пирог
на лопате уже...
— Что ж ты раньше не мог? —
закричала Анисья.— Не стыдно тебе?!
Ишь, напал, сатана! Да в моей-то избе!
Я те вот побрешу! — И в горячке она
подскочила с лопатой к динамику: — Н-на!..
Замер враз, отлетев на четыре шага.
На стене только гвоздь да шматки пирога...

— Ой, чего натворила-то, дура я, ой!
Да зачем я пирог-то сгубила такой?! —
На колени упала, морошку берет...
А петух под окном «ку-ка-ре-ку!» орет,
причитаньем Анисьи в избе всполошен...
Чувства юмора начисто был он лишен!

РОССИИ

Нелегкую ты выбрала мне долю —
дала бумагу мне, перо дала...
О Русь моя, колосья по подолу,
и синь в глазах, и солнце у чела!

Ты, вечная, моложе век от века!
Тебе, моя великая страна,
ни позолота лести человека,
ни пудра фраз красивых не нужна!

И ты, великодушная на диво,
казни меня забвеньем, коль солгу...
И без меня ты можешь быть счастливой,
я без тебя, Россия, не могу!

* * *

В стихах
деревенских идиллий
и сам я терпеть не могу.
Но вы по покосам бродили?
Вы спину хоть раз натрудили
с косой на заречном лугу?
Вы пили из речки с коленей,
за быстрым теченьем следя?
Хоть раз засыпали на сене
под вкрадчивый шепот дождя?

О тихие дождики эти,
без луж на дорогах, без гроз!
Не те, о которых в газете
заране дается прогноз.
Пойдет он — не сразу расслышишь.
Вдруг капля слетит — замечай:

как будто бы пяткой о крышу
ударит комар невзначай.
Помедлит — и снова ударит.
А рядом начнут топотать
четвертый, десятый комарик,
пятнадцатый... Не сосчитать!
Лежишь, околдован, как сказкой,
дожда комариною пляской
и запахом сена
медовым,
лежишь, не считая минут,
доволен постелью и домом,
в котором нашел ты приют.
Скрипит полуночная птица:
«Спать, спать», — словно «баю-баю».
Тебе ж еще долго не спится,
ты думаешь думу свою
про то, что хлеба этим летом
добры — колосок к колоску,
что лучше, по многим приметам,
живется теперь мужику.
«Спать!» — снова, себя не жалея,
надсадно скрипит коростель.
И веки твои тяжелеют.
Все глубже и мягче постель.
Ты валишься в сон, словно в воду,
подумав, что завтра опять
хорошая будет погода
и надо зарю не проспать.

СОДЕРЖАНИЕ

Строка моя	3
Бабушкины песни	4
Русские сказки	4
«Оглядываюсь с гордостью назад...»	5
Признание в любви	6
Первые уроки	8
Деревенское собрание	9
Черемуха на деревенской улице	10
И моя заслуга	11
Доска почета	12
Разговор с попутчиком	13
Осень в березовой роще	14
Веселая рука	14
Бани топятся	15
По ягоды	17
«Стихи мои о деревне...»	18
В городе	19
Весенний базар	20
Раздумья в полете	20
«...И ночь пришла...»	21
Девчата	22
Баллада о хлебе	24
Анисьино утро	25
России	30
«В стихах деревенских идиллий...»	30

Цена 4 коп.

Индекс 70668